

В. Г. Белинский

**Сочинения Александра
Пушкина. Статья
четвертая**



Виссарион Григорьевич Белинский

Сочинения Александра Пушкина. Статья четвертая

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2819355

Аннотация

С Пушкина начинается самобытная русская литература. Белинский вскрывает историческую закономерность появления оригинальной русской поэзии: «Пушкин явился именно в то время, когда только что сделалось возможным явление на Руси поэзии как искусства. Двенадцатый год был великой эпохой в жизни России. По своим последствиям он был величайшим событием в истории России после царствования Петра Великого. Напряженная борьба насмерть с Наполеоном пробудила дремавшие силы России и заставила ее увидеть в себе силы и средства, которых она дотоле сама в себе не подозревала».

Содержание

Комментарии

Виссарион Белинский

Сочинения Александра Пушкина. Статья четвертая

Санкт-Петербург. Одиннадцать томов 1838–1841 г.

Имел он песен дивный дар
И голос шуму вод подобный.

Великие реки составляют из множества других, которые, как обычную дань, несут им обилие вод своих. И кто может разложить химически воду, например, Волги, чтоб узнать в ней воды Оки или Камы? Приняв в себя столько рек, и больших и малых, Волга пышно катит свои собственные волны, и все, зная о ее бесчисленных похищениях, не могут указать ни на одно из них, плывя по ее широкому раздолью. Муза Пушкина была вскормлена и воспитана творениями предшествовавших поэтов. Скажем более: она приняла их в себя, как свое законное достояние, и возвратила их миру в новом, преображенном виде. Можно сказать и доказать, что без Державина, Жуковского и Батюшкова не было бы и Пушкина, что он их ученик; но нельзя сказать и еще менее доказать, чтобы он что-нибудь заимствовал от своих

учителей и образцов или чтоб где-нибудь и в чем-нибудь он не был неизмеримо выше их. Поэзия Державина была преждевременною, а потому и неудавшеюся попыткою на народную поэзию. Могучий гений Державина явился слишком не вовремя и не мог найти в народной жизни своего отечества какие-нибудь элементы, какое-нибудь содержание для поэзии. Общество его времени хорошо понимало поэзию патронажства, лести и угодничества; но о всякой другой поэзии не имело решительно никакого понятия и, следовательно, не имело в ней никакой потребности, никакой нужды. Слава Державина была основана не на общественном мнении, которого тогда не было ни признака, ни тени, особенно в деле литературы; нет, слава Державина была основана на просвещенном внимании немногих к его таланту. И если во всей России того времени было человек десять или двадцать, более или менее умевших ценить этот высокий талант, то остальные, человек сто или двести, из которых состояла тогдашняя читающая публика, кричали о нем с голоса первых, сами хорошенько не понимая собственного крика. Где ж тут было явиться истинной поэзии и великому поэту? Правда, природа производит таланты, не спрашиваясь времени и не справляясь, нужны они или нет; но ведь великие поэты творятся не одной природою: они творятся и обществом, то есть историческим положением общества. Думать, что поэта составляет один талант – значит грубо ошибаться. Разумеется, прежде всего поэтом делает человека талант; но к этому

также необходимы еще и характер, и образование, и направление, которые зависят от общества, среди которого является поэт. Чтоб поэтически воспроизводить действительность, мало одного природного таланта: нужно еще, чтоб под рукою поэта была поэтическая действительность. Хорошо было грекам творить их изящные, исполненные идеальной красоты статуи, когда греческие художники и на площадях, и на улицах, и на рынках беспрестанно встречали то мужчин с головою Зевеса, с станом Аполлона, то женщин с выражением величаво строгой красоты Паллады, с роскошными формами Афродиты или обаятельною прелестью Харит. Только итальянским живописцам средних веков был доступен идеал Мадонны, ибо тип ее они видели беспрестанно в прекрасных женщинах своего богатого красотою отечества. Странное дело! Все понимают, что нельзя сделаться великим живописцем, имея какой бы то ни было великий талант, если в годы изучения искусства нет хороших натурщиков; все понимают, что великий живописец, творя идеальную красоту, все-таки нуждается во время своей работы в образце действительности; а никто не хочет понять, что точно так же и для великих поэтов образцом их идеальных созданий служит тоже окружающая их действительность. Природа творит великих полководцев, когда ей угодно, и не только на случай войны, но без войны, и великий полководец проживет весь свой век, даже и не подозревая, что он – великий полководец: только во времена сильных движений обществен-

ных, люди, одаренные от природы большими военными способностями, делаются великими полководцами. Чопорный, натянутый Расин в древней Греции был бы страстным и глубокомысленным Эврипидом; а во Франции, в царствование Людовика XIV, и сам страстный, глубокомысленный Эврипид был бы чопорным и натянутым Расином. Таково влияние истории и общества на талант. У нас этого не хотят и знать. Кричат о Державине, что он гений; стихов его давно уже совсем не читают, а считают чуть не безбожниками тех, кто осмеливается говорить, что теперь поэзия Державина – слишком непитательная и невкусная пища для эстетического вкуса. Повторяем не раз уже сказанное и, смеем надеяться, доказанное нами, что, при всей огромности таланта, который мы и не думаем отрицать и пред которым мы умеем благоговеть больше, нежели все крикуны и лицемеры, вопиющие против нас, – Державин не принадлежит к тем вечно юным гениям, которых создания никогда не стареются, всегда новы и интересны. Поэзия Державина была блестящею и интересною попыткою, для успеха которой не были готовы ни русское общество, ни русский язык, ни образование самого поэта. Это поэзия, носящая на себе все родовые признаки своего времени, а потому для нас, русских, имеющая свой исторический интерес; но как время этой поэзии, так и сама эта поэзия чужды всякого действительного и определенного идеального содержания, которое дается только сильно развитой народною жизнью. Лучшее, что есть в поэзии Дер-

жавина, – это намеки на поэзию, часто не достигающие цели по их неопределенности и темноте; проблески поэзии, часто погасающие в водяной массе риторики; словом, это несвязный детский поэтический лепет, но еще не поэзия. В поэзии Державина есть и полетистая возвышенность, и могучая крепость, и яркость великолепных картин, и, несмотря на ее подражательность, есть что-то отзывающееся стихиями северной природы; но все это является в ней не в стройных созданиях, верных и выдержанных по концепции и отличающихся художественною, полнотою и оконченностию, но отрывочно, местами, проблесками. Словом, это еще не поэзия, а только стремление к поэзии.

Задумчивая и мечтательная поэзия Жуковского совершенно чужда главного недостатка поэзии Державина: она исполнена содержания, но вместе с тем лишена разнообразия и многосторонности. Ни одному поэту так много не обязана русская поэзия в ее историческом развитии, как Жуковскому; и между тем, в созданиях Жуковского поэзия является не столько искусством, сколько служительницею и провозвестницею тайн внутренней жизни. Жуковский – романтик в духе средних веков, а не художник. По своей натуре он чужд этой способности, совершенно поэтической и артистической, свободно переноситься во все сферы жизни и воспроизводить ее явления в их разнообразии и свойственной каждому из них особенности. Ему чуждо это свойство Протея принимать все виды и формы и оставаться в то же время са-

мим собою, – это свойство, в котором заключается сущность поэзии как искусства. Поэзия Жуковского была отголоском его жизни, вздохом по утраченным радостям, разрушенным надеждам, поэтической тризной над умершим для очарования сердцем. Поэзия души и сердца, она чужда всех других интересов и редко выходит из-за магического круга неопределенных стремлений и туманных мечтаний. Это ее величайший недостаток, но это же и ее величайшее достоинство. Она была необходима не для самой себя, а как средство к развитию русской поэзии; она явилась не как готовая уже поэзия, подобно Палладе, родившейся во всеоружии, а как момент возникавшей русской поэзии. Она обогатила русскую поэзию содержанием, которого ей недоставало; указала ей на богатые и неистощимые источники европейской поэзии, которой явления умела с непостижимым искусством усваивать русскому языку. Сверх того, Жуковский далеко подвинул вперед и русский язык, придав ему много гибкости и поэтического выражения.

В поэзии Батюшкова преобладает элемент чисто художественный. Это видно и в фактуре его стиха, и вообще в пластическом характере форм его произведений; это же видно и в артистическом, полном страсти, стремлении его к наслаждению, к вечному пиру жизни; это же видно и в разнообразии предметов его поэтических песен. Это преимущества поэзии Батюшкова перед поэзией Жуковского; но поэзия Жуковского несравненно богаче поэзии Батюшкова со-

держанием. Поэзия Батюшкова скользит по жизни, едва зацепляясь за нее; содержание ее весьма скудно и бедно. Самая художественность стиха его не достигла полного своего развития: Батюшков любил произвольные усечения прилагательных; между превосходнейшими стихами у него встречаются негладкие и даже непоэтические; сверх того, верный преданиям русской поэзии и примеру отца ее – Ломоносова, Батюшков очень и очень не чужд риторике.

Вот в коротких словах все, что было сказано нами в предшествовавших трех статьях. Приступая, наконец, к критическому обозрению поэтической деятельности Пушкина, мы почли за нужное повторить сказанное нами в прежних статьях, чтоб яснее показать читателям историческую связь Пушкина с предшествовавшими ему поэтами.

Мы видели, что эти поэты, оказавшие такие великие услуги рождающейся русской поэзии, только способствовали ее рождению, но не родили ее, более были предтечами поэта, чем поэтами. Без сравнения с Пушкиным каждый из них – поэт; но если сравнивать их с ним, нельзя не согласиться, что между ими и Пушкиным такое же отношение, как между большими реками и еще несравненно большею, которая составляется из их соединенных вод, поглощаемых ею.

Пушкин явился именно в то время, когда только что сделалось возможным явление на Руси поэзии, как искусства. Двенадцатый год был великою эпохою в жизни России. По своим следствиям, он был величайшим событием в истории

России после царствования Петра Великого. Напряженная борьба насмерть с Наполеоном пробудила дремавшие силы России и заставила ее увидеть в себе силы и средства, которых она дотоле сама в себе не подозревала. Чувство общей опасности сблизило между собою сословия, пробудило дух общности и положило начало гласности и публичности, столь чуждых прежней патриархальности, впервые столь жестоко поколебанной. Чтоб видеть, – какое огромное влияние имели на Россию великие события 1812–1814 годов, достаточно прислушаться к толкам старожилов, которые с горестию говорят, что с двенадцатого года и климат в России изменился к худшему, и все стало дороже: добряки не понимают, что дороговизна эта была необходимым следствием увеличивавшихся нужд образованной жизни, следовательно, признаком сильно двинувшейся вперед цивилизации. В это время, вследствие ею же вызванных событий, Франция, столько времени боровшаяся со всею Европою и ознакомившаяся в этой борьбе с своими соседями, уже начала отрекаться от своих литературных предрассудков. Она увидела, что у соседей ее есть не только ум и талант, но и богатые литературы; она поняла, что Корнель и Расин – еще не исключительные представители творческого изящества, а Шекспир, Гёте и Шиллер – совсем не представители замечательных дарований, искаженных дурным вкусом и незнанием истинных правил искусства; она догадалась даже, что

ни классическая «Ars Poetica»¹ Горация, ни подражательная ей «L'Art Poétique» Буало, ни теория Баттё, ни критика Лагарпа уже не могут быть эстетическим Кораном и что в туманных умозрениях немцев вообще и романтических созерцаниях Шлегелей в частности есть много истинного и верного касательно искусства. Словом, романтизм вторгся и во Францию, тесня и изгоняя ее псевдоклассический китаизм, основанный на гордой мысли, что только одним французам бог дал и ум, и вкус, отказав в этих дарах всем другим нациям. Франция жадно прислушивалась к мрачным и громовым звукам лиры Байрона, предчувствуя в них свое собственное возрождение к новой жизни, и поэтические рассказы Вальтера Скотта о средних веках появлялись уже на французском языке почти в то же время, как появлялись в Лондоне на английском. Падение военного терроризма Наполеона развязало Франции руки не только в политическом отношении, но и в отношении к науке и литературе: ненавидимые и гонимые им «идеологи» свободно и ревностно принялись за свое дело; литература и поэзия ожили. Это имело прямое и сильное влияние на нашу литературу. Когда увенчанная славою Россия начала отдыхать от своих побед и торжеств и процветать миром в «гордом и полном доверия покое»^{2{34}}, наши

¹ «Искусство поэзии». – *Ред.*

² Стих Лермонтова.^{34}

^{34} Стих. Лермонтова «Родина» (1841). Нужно: «И полный гордого доверия покой».

обветшалые и заплесневелые журналы того времени и патриарх их «Вестник Европы» начали терять свое влияние и перестали, с своими запоздалыми идеями, быть оракулами читающей публики. Явилась новая публика с новыми потребностями, публика, которая из самых источников иностранных, а не из заплесневелых русских журналов начала почерпать понятия и суждения о литературе и искусствах и которая начала следить за успехами ума человеческого, наблюдая их собственными глазами, а не через тусклые очки устаревших педантов. Около двадцатых годов в «Сыне отечества» начались споры за *романтизм*; вскоре после того появились альманахи, как прибежище новых литературных потребностей и нового литературного вкуса, которые с 1825 года нашли своего представителя и выразителя в «Московском телеграфе». Впрочем, да не подумают читатели, чтоб в этом поверхностном quasi-романтизме мы видели какую-то великую истину, действительность которой и теперь не подвержена сомнению. Нет, так называемый романтизм двадцатых годов, этот недоучившийся юноша с немного растрепанными волосами и чувствами, *теперь* смешон с своими старыми претензиями; его *высшие взгляды* теперь сделались косыми и близорукими, а сбивчивые и неопределенные теории превратились в пустые фразы и обветшалые слова. Но всякому свое! Справедливость требует согласиться, что в свое время этот псевдоромантизм принес великую пользу литературе, освободив ее от болотной стоячести и заплесневелости и

указав ей столько широких и свободных путей. Доказательством этого может служить, что лучшие поэтические труды Жуковского совершены им или около, или после двадцатых годов, как то: перевод «Торжества победителей», «Жалоб Цереры», «Элевзинского праздника», «Орлеанской девы», «Ундины» и проч. Даже самый стих Жуковского сделал с того времени большой шаг вперед. Батюшков умер для русской литературы в самое время этого перелома, и потому новое литературное направление не имело на него влияния. Тем не менее можно предполагать с достоверностию, что, без этого несчастного случая в жизни Батюшкова, его ожидала бы эпоха обильнейшей и высшей деятельности, нежели та, какую он успел обнаружить, и что только тогда узнали бы русские, какой великий талант имели они в нем. При всей художественности, при всей пластичности стиха Батюшкова, ему все еще чего-то недостает: видно, что оставалось ему сделать только небольшой шаг, и в то же время видно, что этот шаг суждено было сделать человеку новому и свежему, не затвердевшему в литературных преданиях. Этим человеком был Пушкин...

Приступая к критическому обозрению творений Пушкина мы будем строго держаться хронологического порядка, в каком являлись они. Пушкин от всех предшествовавших ему поэтов отличается именно тем, что по его произведению можно следить за постоянным развитием его не только как поэта, но вместе с тем как человека и характера. Стихо-

творения, написанные им в одном году, уже резко отличаются, и по содержанию и по форме, от стихотворений, написанных в следующем. И потому его сочинений никак нельзя издавать по родам, как издаются сочинения Державина, Жуковского и Батюшкова, особенно первого и последнего. Это обстоятельство чрезвычайно важно: оно говорит сколько о великости творческого гения Пушкина, столько и об органической жизненности его поэзии, – органической жизненности, которой источник заключался уже не в одном безотчетном стремлении к поэзии, но в том, что почву поэзии Пушкина была живая действительность и всегда плодотворная идея. Между тем в безобразном посмертном издании сочинений Пушкина 1838 года (*восемь* томов) стихотворения расположены по родам, разделение которых основывалось на произволе лица, которому была поручена редакция. Вот почему в нашей статье, несмотря на то, что в заглавии ее выставлено издание 1838 года, мы будем руководствоваться изданными при жизни самого поэта изданиями 1826, 1829, 1832 и 1835 годов. Но прежде всего, мы остановимся на его «лицейских» стихотворениях, помещенных в IX томе 1841 года. Некоторые господа сильно нападали на издателей трех последних томов сочинений Пушкина за помещение его «лицейских» стихотворений, говоря, что это сделано для наполнения книжек хоть каким-нибудь материалом за недостатком хорошего и что печатать произведения поэта, которых он сам не считал достойными печати, – зна-

чит оскорблять его память. Ничто не может быть нелепее такой мысли. Мы очень уважаем дарования и таланты таких поэтов, как Веневитинов, Полежаев, Баратынский, Козлов, Давыдов и другие; но все-таки думаем, что из уважения к ним же не следует печатать их слабые произведения, тем более что они никому и ни в каком отношении не могут быть интересны, а между тем могут повредить известности этих авторов. Но когда дело идет о таких поэтах и писателях, как Ломоносов, Державин, Фонвизин, Карамзин, Крылов, Жуковский, Батюшков, Грибоедов и, в особенности, Пушкин и Лермонтов, – то каждая строка, написанная их рукою, принадлежит потомству и должна быть сохранена для него, ибо она напоминает собою или черту их времени, или факт о их образе мыслей и характере.

«Лицейские» стихотворения Пушкина, кроме того, что показывают, при сравнении с последующими его стихотворениями, как скоро вырос и возмужал его поэтический гений, – особенно важны еще и в том отношении, что в них видна историческая связь Пушкина с предшествовавшими ему поэтами; из них видно, что он был сперва счастливым учеником Жуковского и Батюшкова, прежде чем явился самостоятельным мастером. Впервые, – сколько помним мы, – появилось стихотворение Пушкина в «Вестнике Европы» 1813 года. Он написал его, когда ему не было и *четырнадцати* лет отроду^[1], при получении известия о смерти Кутузова. Стихотворение это не попало в собрание сочинений Пушки-

на, а потому, для редкости, мы и выписываем его здесь:

Отечество в слезах – познало весть ужасну!
Кутузов кончил век средь славы и побед.
Надежду наш злодей питает пусть напрасну,
Что будто бы ему преграды боле нет;
Кутузова парить дух будет над рядами!
Народ, средь коего сей муж родиться мог,
Не преклонит главы пред хищными врагами,
Возникнет новый вождь, и будет с нами бог!

Часто стали появляться в печати стихотворения Пушкина в 1815 году в «Российском музее», журнале, издававшемся Владимиром Измайловым. Все они являлись там с подписью только начальных букв имени и фамилии Пушкина, и все они, по подлинным рукописям покойного поэта, помещены в IX томе его сочинений, между «лицейскими» стихотворениями. Потом стихотворения Пушкина стали появляться в «Сыне отечества», и большая часть их вошла уже в сделанные им самим издания его сочинений.

«Лицейские» стихотворения не богаты поэзией, но часто удивляют красотой и изяществом стиха. Фактура этого стиха совсем не пушкинская: она принадлежит Жуковскому и Батюшкову. Далеко уступая этим поэтам в поэзии, Пушкин, – едва шестнадцатилетний юноша, – иногда не только не уступал им в стихе, но еще едва ли не смелее и не бойчее владел им. Из них только три пьесы уж слишком плохи, а имен-

но: «Бова» (*отрывок из поэмы*), «Красавице, которая нюхала табак» и «Безверие». Первая пьеса написана Пушкиным явно в подражание «Илье Муромцу» Карамзина, которому она, впрочем, нисколько не уступает в достоинстве стиха и вымысла. Подобно «Илье Муромцу» Карамзина, «Бова» не кончен, вероятно, по одной и той же причине: мысль обеих этих пьес так детски ложна и поддельна, что из нее ничего не могло выйти целого, и оба поэта сами соскучились ею, не доведя ее до конца. По самому началу «Бовы» видно, что «Илья Муромец» Карамзина, слишком восхищавший юный вкус Пушкина, разманил его затеять эту поэму:

Часто, часто я беседовал
С болтуном страны эллинския
И не смел осиплым голосом
С Шапеленом и с Рифматовым
Воспевать героев севера.
Несравненного Вергилия
Я читал и перечитывал,
Не стараясь подражать ему
В нежных чувствах и гармонии.
Разбирал я немца Клопштока
И не мог понять премудрого;
Не хотел я воспевать, как он —
Я хочу, чтоб меня поняли
Все от мала до великого.
За Мильтоном и Камозэнсом
Опасался я без крил парить,

Но вчера, в архивах роясь,
Отыскал я книжку славную,
Золотую, незабвенную,
Прочитал – и в восхищении
Про Бову пою царевича.^[2]

Не правда ли, что это очень напоминает столь знакомое и презнакомое всем начало «Ильи Муромца»? Пьеса «Красавице, которая нюхала табак» отличается сатирическим и сентиментальным характером, столь свойственным нашей старинной поэзии. Она написана до того плохими стихами, что нам, привыкшим под пушкинским стихом разуместь высшее изящество стиха, странно думать, что эти стихи писаны Пушкиным, хотя бы и тринадцатилетним.:

Возможно ль, милая Климена!
Какая странная во вкусе перемена:
Ты любишь обонять не утренний цветок,
А вредную траву *зелену*
Искусством *превращенну*
В пушистый порошок?

В заключении он желает быть – табаком:

...Но если уж табак
Столь нравится тебе... о пыл воображенья!
Ах! если б, превращенный в прах,
И в табакерке, в заточеньи,

Я в *персты* нежные твои попасться мог,
Тогда б, в сердечном восхищеньи,
Рассыпался на грудь,^[3]
Но что! мечта, мечта пустая!
Не будет этого никак!
О доля человека злая!
Ах!.. отчего я не ... табак!

«Безверие» – дидактическая пьеса, которые сотнями писались в блаженное старое время: риторическое распространение какой-нибудь темы плохими стихами.^[4]

В детских и юношеских опытах Пушкина заметно влияние даже Капниста и Василия Пушкина. Больше всего видно на них влияние Жуковского, и особенно, Батюшкова; но влияния Державина почти совсем незаметно. Это не значит, чтоб в натуре Пушкина, как художника, не было ничего родственного с поэтической натурою Державина или чтоб Пушкин не любил Державина и не восхищался его произведениями. Напротив, Пушкин благоговел перед Державиным. В записках своих (том XI, стр. 176–177) он с такою любовью рассказывает, как на лицейском публичном экзамене читал он, в двух шагах от Державина, свои «Воспоминания в Царском Селе» и восхитил ими маститого поэта. Это было в 1815 году; Пушкину было тогда шестнадцать лет. Этот случай Пушкин всегда считал великим событием в своей жизни. Он упоминает о нем в одном из своих «лицейских» стихотворений – «К Жуковскому»; тут же, с юношеским восторгом, упоминает

нает и об одобрении Карамзина, Дмитриева и того поэта, к которому обращено было это послание, – одобрение, которым они приветствовали его детские опыты:

Благослови, поэт! в тиши парнасской сени
Я с трепетом склонил пред музами колени,
Опасною тропой с надеждой полетел,
Мне жребий вынул Феб – и лира мой удел.
Страшусь, неопытный, бесславного паденья,^[5]
Но пылкого смирить не в силах я влеченья.
Не грозный приговор на гибель внемлю я:
Сокрытого в веках священный судия,
Страж верный прошлых лет, наперсник муз любимый,^[6]
И бледной зависти предмет неколебимый,
Приветливым меня вниманьем ободрил;
И Дмитрев слабый дар с улыбкой похвалил,
И славный старец наш, царей певец избранный,
Крылатым гением и грацией венчанный,
В слезах обнял меня дрожащею рукой
И счастье мне предрек незнаемое мной.
И ты, природою на песни обреченный,
Не ты ль мне руку дал, в завет любви священной?
Моту ль забыть я час, когда перед тобой^[7]
Безмолвный я стоял, и молнийной струей
Душа к возвышенной душе твоей летела
И, тайно съединясь, в восторгах пламенела?

В другое, позднейшее время, в эпоху мужественной зре-

лости своего гения, Пушкин, говоря о своей музе, сделал поэтический намек на лучшее воспоминание своей юности:

И свет ее с улыбкой встретил;
Успех нас первый окрылил;
Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил.^[8]

Но при всем этом, громогласный одовоспевательный характер державинской поэзии был столько не в натуре и не в духе Пушкина, что на его «лицейских» стихотворениях нет почти никаких следов ее влияния. Только одна *кантата* «Леда», из всех «лицейских» стихотворений, отзывается языком Державина, но вместе и Батюшкова; а самый род пьесы (кантата) напоминает одного Державина. Этим почти и оканчивается все сближение. Но если сравнить в «Онегине» и других позднейших произведениях Пушкина картины русской природы – именно осени и зимы, то нельзя не увидеть, что они носят на себе отпечаток какой-то родственности с державинскими Картинами в том же роде. Это нельзя доказать сравнительными выписками из того и другого поэта; но это очевидно для людей, которые способны проникать далее буквы и отыскивать аналогию в духе поэтических произведений. Проблескивающие по временам и местами элементы державинской поэзии – суть живопись северно-русской природы, народность, сатира и художественность: все это составляет полноту и богатство поэзии Пушкина, и все

это достигло в ней своего совершенного развития и определения. Державинская поэзия, в сравнении с пушкинской, это – заря предрассветная, когда бывает ни ночь, ни день, ни полночь, ни утро, но едва начинается борьба тьмы с светом; брезжит неверный полумрак, обманчивый полусвет; вдали на небе как будто белеет полоса и в то же время догорают готовые погаснуть ночные звезды, а все предметы являются в неестественной величине и ложном виде. Пушкинская поэзия, в сравнении с державинскою, это – роскошный, полный сияния и блеска полдень летнего дня: все пред меты, земли озарены светом неба и являются в своем собственном, определенном, ясном виде, и самая даль только делает их болёе? поэтическими и прекрасными, а не ложными и безобразными... Словом, поэзия Державина есть безвременно явившаяся, а потому и неудачная поэзия пушкинская, а поэзия пушкинская есть во-время явившаяся и вполне достигшая своей определенности, роскошно и благоуханно развившаяся поэзия державинская...

Пьесы: *К Наташе, Рассудок и любовь, К Маше, Слеза, Погреб, Истина, Застольная песня, Делая, Стансы* (из Вольтера), *К. Делиш, К ней, Месяц, «Я Лилу слушал у клавира», К Жуковскому, Пирующие друзья,*^[9] *К Дельвигу, Фиал Анакреона, К Дельвигу, Фавн и пастушка, К живописцу, Сновидение, Романс,* – все эти пьесы по изобретению, по форме и по именам Лилы, Нины, Маши, Наташи и т. п., напоминают собою предшествовавшую Жуковскому и Батюшкову

эпоху русской литературы или по крайней мере ту школу поэзии русской, которая не испытывала на себе влияния этих двух поэтов. Так, например, пьеса «К живописцу» написана как будто Державиным, предлагающим живописцу написать портрет его Милены или Пленеры; а пьесы: *Слеза*, *Погреб*, *Истина* написаны как будто на мотив известной прелестной песенки Дениса Давыдова «Мудрость», которая начинается куплетом:

Мы недавно от печали,
Лиза, я да Купидон,
По бокалу осушали
Да просили мудрость вон.

Чтоб дать понятие о духе этой школы, представителями которой были Капнист, Нелединский-Мелецкий, В. Пушкин, Давыдов, мы выпишем стихотворение Пушкина «Сновидение»:

Недавно обольщен прелестным сновиденьем
В венце сияющем царем я зрел себя;
Мечталось, я любил тебя —
И сердце билось наслажденьем.
Я страсть у ног твоих в восторгах изъяснял.
Мечты! ах! отчего вы счастья не продлили?
Но боги не всего теперь меня лишили:
Я только царство потерял.

В послании «К Жуковскому» Пушкин рассуждает в довольно прозаических стихах о литературных вопросах, особенно занимавших дядю его, Василия Пушкина, в ту эпоху, которой В. Пушкин был одним из представителей. В. Пушкин в прозаических, но иногда очень острых сатирах нападал на плохих стихотворцев и славянофилов – врагов Карамзина – того времени. В послании своем «К Жуковскому» молодой Пушкин, под влиянием дяди своего, также нападает на рифмачей и славянофилов и судит о русской литературе. Рифмачей называет он «варягами».

Далеко диких лир несется резкий вой;
Варяжские стихи визжит Варягов строй.

.....

Те слогом Никона печатают поэмы,
Одни славянских од громады громоздят,
Другие в бешеных трагедиях хрипят,^[10]
Тот, верный своему мятежному союзу,
На сцену возведя зевающую музу,
Бессмертных гениев сорвать с Парнаса мнит:
Рука содрогнулась, удар его скользит;
Вотще бросается с завистливым кинжалом:
Куплетом ранен он, низвержен в прах журналом:
При свистах критики к собратьям он бежит,
И маковый венец Феспису ими свит.
Все, руку наложив на том Тилимахида,
Клянутся отомстить сотрудников обиды,
Волнуясь, восстают неистовой толпой.

Беда, кто в свет рожден с чувствительной душой,
Кто тайно мог пленить красавиц нежной лирой,
Кто смело просвистал шутливую сатируй,
Кто выражается правдивым языком
И русской глупости не хочет бить челом:
Он враг отечества, он сеятель разврата,
И речи сыплются дождем на супостата.

Читая эти стихи, невольно переносишься в то блаженное время нашей литературы, о котором теперь, за исключением пожилых и записных литераторов, немногие имеют понятие. В этом послании слог, фактура стиха, понятия, взгляд на вещи – все принадлежит времени, которое предшествовало Жуковскому и Батюшкову и проглядело их явление. Но тут есть нечто и самостоятельное, принадлежащее Пушкину, как представителю уже нового поколения: это жестокая нападка на Тредьяковского и, в особенности, на Сумарокова:

Ты ль это, слабое дитя чужих уроков,
Завистливый гордец, холодный Сумароков,
Без силы, без огня, с посредственным умом,
Предрассуждениям обязанный венцом
И с Пинда сброшенный и проклятый Расином?
Ему ли, карлику, тягаться с исполином?
Ему ль оспаривать лавровый тот венец,^[11]
В котором восблистал бессмертный наш певец..
Веселье россиян, полуночное диво?
Нет! в тихой Лете он потонет молчаливо!

Уж на челе его забвения печать.
Предбудущим векам что мог он передать?
Страшилась Грация цинической свирели,
И персты грубые на лире костенели.

Замечателен еще в этом послании юношеский жар и рьяность, с какими Пушкин призывает талантливых певцов на брань с писаками. Он указывает им на Феба, сражающего Пифона, и требует мщения за погибшего жертвою зависти Озерова:

Лиющая с небес и жизнь и вечный свет,
Стрелою гибели десница Аполлона
Сражает наконец ужасного Пифона;
Смотрите! поражен враждебными стрелами
С потухшим факелом, с недвижными крылами.
К вам Озерова дух взывает: други, месть!
Вам оскорбленный вкус, вам знания дали весть,
Летите на врагов – и Феб и музы с вами!
Разите варваров кровавыми стихами:
Невежество, смирясь, потупит хладный взор,
Спесивых риторов безграмотный собор...

В заключении молодой поэт решается, не боясь гонений и зависти невежд и рифмачей, «ученью руку дав», смело идти прямою дорогою... Это значило возвестить о себе довольно громко: последствия показали, что этот юноша имел полное на то право...

В пьесах: *Наслаждение, К принцу Оранскому, Сраженный рыцарь, Воспоминания в Царском Селе* и *Наполеон на Эльбе* заметно влияние Жуковского: в них преобладает элегический тон в духе музыки Жуковского, стих очень близок к стиху Жуковского, в самом взгляде на предмет видна зависимость ученика от учителя.

«Воспоминания в Царском Селе» написаны звучными и сильными стихами, хотя вся пьеса эта не более как декламация и риторика. Такими же стихами написана и пьеса «Наполеон на Эльбе», содержание которой теперь кажется забавно-детским. Пушкин заставляет Наполеона «свирепо прошептать» разные ругательства на самого себя, превозносить своих врагов, а о себе самом отзываться, как об ужасном *mauvais sujet*³. Между прочим Наполеон у него свирепо *прошептывает*;

«Полнощи царь молодой! ты двинул ополченья,
И гибель вслед пошла кровавым знаменам,
Отозвалось могущего паденье —
И мир земле и радость небесам,
А мне – позор и поношенья!»

Чему удивляться, что шестнадцатилетний мальчик так смотрел на Наполеона в то время, как на него так же точно смотрели и престарелые, и возмужавшие поэты! Гораздо

³ Злодее. – *Ред.*

удивительнее, что этот мальчик через *пять* лет после того сказал о Наполеоне:

Над урной, где твой прах лежит,
Народов ненависть почила
И луч бессмертия горит.

. . . .

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!
Хвала!.. он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал!^[12]

Эти стихи и особенно этот взгляд на Наполеона, как освежительная гроза, раздалась в 1821 году над полем русской литературы, заросшим сорными травами общих мест, и многие, поэты, престарелые и возмужалые, прислушивались к нему с удивлением, подняв встревоженные головы вверх, словно гуси на гром. . .

Но между «лицейскими» стихотворениями гораздо более ознаменованных сильным влиянием Батюшкова. Таковы пьесы: *К Наталье*, *К молодой актрисе*, *Князю А. М. Горчакову*, *Осгар*, *Эвлега*, *Воспоминание* (Пущину), *Сон* (отрывок), *К молодой вдове*, *Мое завещание друзьям*, *Наездник*, *К. Г...у*,

Мечтатель, К. П..у, К. Б...у, Городок. Даже в пьесах, написанных под влиянием других поэтов, заметно в то же время и влияние Батюшкова: так гармонировала артистическая натура молодого Пушкина с артистическою натурою Батюшкова! Художник инстинктивно узнал художника и избрал его преимущественным образцом своим. Это показывает, до какой степени силен был в Пушкине художнический инстинкт. Как ни много любил он поэзию Жуковского, как ни сильно увлекался обаятельностью ее романтического содержания, столь могущественною над юною душою, но он нисколько не колебался в выборе образца между Жуковским и Батюшковым и тотчас же, бессознательно, подчинился исключительному влиянию последнего. Влияние Батюшкова обнаруживается в «лицейских» стихотворениях Пушкина не только в фактуре стиха, но и в складе выражения, и особенно во взгляде на жизнь и ее наслаждения. Во всех их видна нега и упоение чувств, столь свойственные музе Батюшкова; и в них проглядывает местами унылость и веселая шутливость Батюшкова. Пушкин занял у него даже любимые имена, и в особенности *Хлою* и *Делию*, и манеру пересыпать свои стихотворения мифологическими именами Купидона, Амура, Марса, Аполлона и проч., и любимые его выражения: *цитерская сторона*, *девственная лилея* и тому подобные. Вспомните стихотворения Батюшкова, заимствованные им из Парни, и потом послание «К П-ну» и сравните с ним пьесы Пушкина «К Наталье» и «К молодой вдове»: вы увидите в них Пушкина уче-

ником Батюшкова.

Ночь придет – и лишь тебя
Вижу я в пустом мечтании,
Вижу, в легком одеянии,
Будто милая со мной:
Робко сладостно дыханье,
Белой груди колыханье,^[13]
Снег затмившей белизной —
И полуотверсты очи,
Скромный мрак безмолвной ночи —
Дух в восторг приводят мой!..
Я один в беседке с нею:
Вижу девственну лилею,
Трепещу, томлюсь, немею...

....

Но, Наталья, ты не знаешь.
Кто твой нежный Селадон?
Ты еще не понимаешь,
Отчего не смеет он
И надеяться? – Наталья!
Выслушай еще меня:
Не владелец я сераля,^[14]
Не арап, не турок я;
За учтивого китайца,
Грубого американца
Почитать меня нельзя.
Не представь и немчурюю
С колпаком на волосах,

С кружкой, пивом налитой,
И с цыгаркою в зубах;
Не представь кавалергарда
В каске, с длинным палашом —
Не люблю я бранный гром:
Шпага, сабля, алебарда
Не тягчат моей руки.

По отделке и стиху это стихотворение слишком отзывается детской незрелостью; но следующее и по стихам напоминает Батюшкова:

Лида! друг мой неизменный,
Почему сквозь легкий сон,
Часто негой утомленный,
Слышу я твой тихий стон?
Почему в любви счастливой
Вида страшную мечту,
Взор недвижный, боязливый,
Устремляешь в темноту?
Почему, когда вкушаю
Быстрый обморок любви,
Иногда я примечаю
Слезы тайные твои —
Ты рассеянно внимаешь
Речи пламенной моей,
Хладно руку прижимаешь,
Хладен взор твоих очей?
О, бесценная подруга!

Вечно ль слезы проливать?
Вечно ль мертвого супруга
Из могилы вызывать!
Верь мне: узников могилы
Там объемлет вечный сон,
Им не мил уж голос милый,
Не прискорбен скорби стон.
Не для них весенни розы,
Сладость утра, шум пиров,
Откровенной дружбы слезы
И любовниц робкий зов!
Рано друг твой незабвенный
Вздохом смерти воздохнул,
И, блаженством упоенный,
На груди твоей уснул.
Спит увенчанный счастливец!
Верь любви – невинны мы —
Нет! Разгневанный ревнивец
Не придет из вечной тьмы;
Тихой ночью гром не грянет,
И завистливая тень
Близ любовников не станет,
Вызывая спящий день!

Пьесы: «Осгар» и «Эвлега» навеяны скандинавскими стихотворениями Батюшкова.^[15] В то время пользовалось большою известностию действительно прекрасное послание Батюшкова к Жуковскому – «Мои пенаты». Оно родило мно-

жество подражаний. Пушкин написал в роде и духе этого стихотворения довольно большую пьесу «Городок».

Философом ленивым,
От шума вдалеке.
Живу я в городке
Безвестностью счастливым.
Я нанял светлый дом
С диваном, с камельком:
Три комнатки простые —
В них злата, бронзы, нет,
И ткани выписные
Не кроют их паркет;
Окошки в сад веселый,
Где липы престарелы
С черемухой цветут;
Где мне в часы полдневны
Березок своды темны
Прохладну сень дают;
Где ландыш белоснежный
Сплелся с фиалкой нежной,^[16]
И быстрый ручеек,
В струях неся цветок,
Невидимый для взора.
Лепечет у забора.
Здесь добрый твой поэт
Живет благополучно;
Не ходит в модный свет;
На улице карет

Не слышен стук докучный;
Здесь грома вовсе нет;
Лишь изредка телега
Скрыпит по мостовой,
Иль путник, в домик мой
Пришед искать ночлега,
Дорожную клюкой
В калитку постучится...
Блажен, кто веселится
В покое, без забот,
С кем втайне Феб дружится
И маленький Эрот;
Блажен, кто на просторе
В укромном уголке,
Не думает о горе,
Гуляет в колпаке,
Пьет, ест, когда захочет,
О госте не хлопчет!

Подобно Батюшкову, Пушкин в этом стихотворении говорит о своих любимых писателях, которые заняли место на полках его избранной библиотеки. Только он говорит не об одних русских писателях, но и об иностранных:

Друзья мне – мертвецы,
Парнасские жрецы,
Над полкою простою,
Под тонкою тафтою,
Со мной они живут,

Певцы красноречивы,
Прозаики шутливы,
В порядке стали тут.
Сын Мома и Минервы,
Фернейский злой крикун,
Поэт в поэтах первый,
Ты здесь, седой шалун!
Он Фебом был воспитан,
Из детства стал пиит;
Всех больше перечитан.
Всех менее томит;
Соперник Эврипида,
Эраты нежный друг, ч
Арьоста, Тасса внук —
Скажу ль?.. отец Кандида —
Он все; везде велик
Единственный старик!
На полке за Вольтером
Виргилий, Тасс с Гомером,
Все вместе предстоят.
В час утренний досуга
Я часто друг от друга
Люблю их отрывать.
Питомцы юных граций —
С Державиным потом
Чувствительный Гораций
Является вдвоем.
И ты, певец любезный,
Поэзией прелестной

Сердца привлекший в плен,
Ты здесь, лентяй беспечный,
Мудрец простосердечный,
Ванюша Лафонтен!
Ты здесь – и Дмитрев нежный,
Твой вымысел любя,
Нашел приют надежный
С Крыловым близ тебя.
Но вот наперсник милый
Психеи златокрылой!
О, добрый Лафонтен,
С тобой он смел сразиться,
Коль можешь ты дивиться,
Дивись: ты побежден!⁴
Воспитанны Амуром,
Вержье, Парни с Грекуром
Укрылись в уголок
(Не раз они выходят
И сон от глаз отводят
Под зимний вечерок).
Здесь Озеров с Расином,
Руссо и Карамзин,
С Мольером-исполином
Фонвизин и Княжнин.
За ними, хмурясь важно,
Их грозный аристарх
Является отважно
В шестнадцати томах.

⁴ Богданович.

Хоть страшно стихоткачу
Лагарпа видеть вкус,
Но часто, признаюсь.
Над ним я время трачу.
Кладбище обрели
На самой нижней полке
Все школьнически толки,
Лежащие в пыли,
Визгова сочиненья,
Глупона песнопенья,^[17]
Известные творенья,
Увы! одним мышам.
Мир вечный и забвенье
И прозе и стихам!
Но ими огражденну
(Ты должен это знать)
Я спрятал потаенну
Сафьянную тетрадь,
Сей свиток драгоценный,
Веками сбереженный
От члена русских сил,
Двоюродного брата.
Драгунского солдата
Я даром получил.
Ты, кажется, в сомненьи...
Не трудно отгадать:
Так, это сочиненья,^[18]
Презревшие печать.
Хвала вам, чада славы,

Враги парнасских уз!
О, князь, наперсник муз,
Люблю твои забавы;
Люблю твой колкий стих
В посланиях твоих:
В сатире – знание света
И слога чистоту,
И в резвости куплета
Игриву остроту —
И ты. .

...

...

...

Как, в юношески леты,
В волнах туманной Леты,
Их гуртом потопил;
И ты, замысловатый
«Буянова» певец,
В картинах столь богатый
И вкуса образец;
И ты, шутник бесценный,
Который Мельпомены
Котурны и кинжал
Игривой Тальи дал!
Чья кисть мне нарисует,
Чья кисть скомпанирует
Такой оригинал!
Тут вижу я: с Чернавкой
Подщипа слезы льет.

Но назову ль детину,
Что доброю порой
Тетради половину.
Наполнил лишь собой!
О ты, высот Парнаса
Боярин небольшой,
Но пылкого Пегаса
Наездник удалой!
Намаранные оды,
Убранство чердаков,
Гласят из роды в роды:
Велик, велик – Свистов!
Твой дар ценить умею,
Хоть право не знаток;
Но здесь тебе не смею
Хвалы сплетать венки:
Свистовским должно слогом
Свистова воспевать;
Но убирайся с богом!
Как ты, в том клясться рад,
Не стану я писать.

Несмотря на явную подражательность Батюшкову, к которой запечатлена эта пьеса, в ней есть нечто и свое, пушкинское: это не стих, который довольно плох, но шаловливая вольность, чуждая того, что французы называют *pruderie*⁵, и столь свойственная Пушкину. Он нисколько не думает скры-

⁵ Жеманство. – *Ред.*

вать от света того, что все делают с наслаждением наедине, но о чем все, при других, говорят тоном строгой морали; он называет всех своих любимых писателей... Юношеская заносчивость», беспрестанно придирающаяся сатирую к бездарным писакам и особенно главе их, известному Свистову, также характеризует» Пушкина. —

В некоторых из «лицейских» стихотворений сквозь подражательность проглядывает уже чисто пушкинский элемент поэзии. Такими пьесами считаем мы следующие: *Окно, элегии* (числом восемь), *Гораций, Усы, Желание, Заздравный кубок, К товарищам перед выпуском*. Они не все равного достоинства, но некоторые, по тогдашнему времени, просто прекрасны. А тогдашнее время было очень невзыскательно и неразборчиво. Оно издало (1815–1817) *двенадцать* томов «Образцовых русских сочинений и переводов в стихах и прозе» и потом (1822–1824) их же переиздало с исправлениями, дополнениями и умножением и, наконец, не довольствуясь этим, напечатало (1821–1822) «Собрание новых русских сочинений и переводов в стихах и прозе, вышедших в свет от 1816 по 1821 год» и «Собрание новых русских сочинений и переводов в стихах и прозе, вышедших в свет с 1821 по 1825 год». Большая часть этих «образцовых» сочинений весьма легко могли бы почесться образчиками бездарности и безвкусыя. «Воспоминания в Царском Селе» Пушкина были действительно одной из лучших пьес этого сборника, а Пушкин никогда не помещал этой пьесы в собрания своих сочи-

нений, как будто не признавая ее своей, хотя она и напоминала ему одну из лучших минут его юности.^[19] И потому стихотворения Пушкина, о которых мы начали говорить, имели бы полное право, особенно *тогда*, смело итти за образцовые и не в таком сборнике, – только через меру строгий художнический вкус Пушкина мог исключить из собрания его сочинений такую пьесу, как, например, «Гораций».^[20] Перевод из Горация, или оригинальное произведение Пушкина в горадианском духе, – что бы ни была она, только никто ни из старых, ни из новых русских переводчиков и подражателей Горация не говорил таким горадианским языком, и складом и так верно не передавал индивидуального характера горадианской поэзии, как Пушкин в этой пьесе, к тому же и написанной прекрасными стихами. Можно ли не слышать в них живого Горация? —

Кто из богов мне возвратил
Того, с кем первые походы
И браней ужас я делил,
Когда за призраком свободы
Нас Брут отчаянный водил;
С кем я тревоги боевые
В шатре за чашей забывал
И кудри, плющем увитые.
Сирийским мирром умашал?

Ты помнишь час ужасной битвы,

Когда я, трепетный квирит,
Бежал, нечестно брося щит,
Творя обеты и молитвы?
Как я боялся! как бежал!
Но Эрмий сам незапной тучей
Меня покрыл и вдаль умчал
И спас от смерти неминучей.

А ты, любимец первый мой,
Ты снова в битвах очутился...
И ныне в Рим ты возвратился,
В мой домик темный и простой.
Садись под сень моих пенатов!
Давайте чаши! Не жалея
Ни вин моих, ни ароматов!
Готовы чаши; мальчик! лей;
Теперь не к стати воздержанье:
Как дикий скиф, хочу я пить
И, с другом празднуя свиданье,
В вине рассудок утопить.

В этом стихотворении видна художническая способность Пушкина свободно переноситься во все сферы жизни, во все века и страны, виден тот Пушкин, который, при конце своего поприща, несколькими терцинами в духе Дантовой «Божественной комедии» познакомил русских с Дантом больше, чем могли бы это сделать всевозможные переводчики, как можно познакомиться с Дантом, только читая его в под-

линнике... В следующей маленькой элегии уже виден будущий Пушкин – не ученик, не подражатель, а самостоятельный поэт:

Медлительно влекутся дни мои,
И каждый миг в увядшем сердце множит
Все горести несчастливой любви
И тяжкое безумие тревожит.
Но я молчу; не слышен ропот мой.
Я слезы лью... мне слезы утешенье.
Моя душа, объятая тоской,
В них горькое находит наслаждение.
О, жизни сон! лети, не жаль тебя!
Исчезни в тьме, пустое привиденье!
Мне дорого любви моей мученье,
Пускай умру, но пусть умру – любя!

В пьесе «К товарищам перед выпуском» веет дух, уже совершенно чуждый прежней поэзии. И стих, и понятие, и способ выражения – все ново в ней, все имеет корнем своим простой и верный взгляд на действительность, а не мечты и фантазии, облеченные в прекрасные фразы. Поэт, готовый с товарищами своими выйти на большую дорогу жизни, мечтает не о том, что все они достигнут и богатства, и славы, и почестей, и счастья, а предвидит то, что всего чаще и всего естественнее бывает с людьми.

Разлука ждет нас у порогу;

Зовет нас света дальний шум,
И каждый смотрит на дорогу
В волненьи юных, пылких дум.
Иной, под кивер спрятав ум,
Уже в воинственном наряде
Гусарской саблею махнул;
В крещенской утренней прохладе
Красиво мерзнет на параде,
А греться едет в караул.
Другой, рожденный быть вельможей.
Не честь, а почести любя,
У плута знатного в прихожей
Покорным плутом зрит себя.

Несмотря на всю незрелость и детский характер первых опытов Пушкина, из них видно, что он глубоко и сильно со-знавал свое призвание, как поэта, и смотрел на него как на жречество. Его восхищала мысль об этом призвании, и он говорит в послании к Дельвигу:

Мой друг! и я певец! и мой смиренный путь
В цветах украсила богиня песнопенья,
И мне в младую боги грудь
Влияли пламень вдохновенья.

Жажда славы сильно волновала эту молодую и пылкую ду-шу, и заря поэтического бессмертия казалась ей лучшей це-лью бытия:

Ах! ведает мой добрый гений,
Что предпочел бы я скорей
Бессмертию души моей
Бессмертие своих творений.^[21]

Таких и подобных этим стихов, доказывающих, сколь много занимало Пушкина его поэтическое призвание, очень много в его «лицейских» стихотворениях. Между ими замечательно стихотворение «К моей чернильнице».^[22]

Подруга думы праздной,
Чернильница моя!
Мой век однообразный
Тобой украсил я.
*Как часто друг веселья
С тобою забывал
Условный час похмелья
И праздничный бокал!*
Под сенью хаты скромной,
В часы печали томной,
Была ты предо мной
С лампадой и мечтой.
В минуты вдохновенья
К тебе я прибегал
И музу призывал
На пир воображенья.
Сокровища мои
На дне твоём таятся.

Тебя я посвятил
Занятиям досуга
И с ленью примирил;
Она твоя подруга;
С тобой успех узнал
Отшельник неизвестный...
Заветный твой кристалл
Хранит огонь небесный;
И под вечер, когда
Перо по книжке бродит,
Без всякого труда
Оно в тебе находит
Концы моих стихов
И верность выраженья,
То звуков или слов
Нежданное стечение,
То едкой шутки соль,
То странность рифмы новой,
Неслыханной дотоль.

Вот уже как рано проснулся в Пушкине артистический элемент: еще отроком, без всякого труда находя в чернильнице концы своих стихов, думал он о верности выраженья и задумывался над неожиданным стечением звуков или слов и странностью дотолe неслыханной новой рифмы! К таким же чертам принадлежит вольность и смелость в понятиях и словах. В одном послании он говорит:

Устрой гостям пирушку,
На столик вощаной
Поставь *пивную кружку*
И кубок пуншевой.^[23]

За исключением Державина, поэтической натуре которого никакой предмет не казался низким, из поэтов прежнего времени никто не решился бы говорить в стихах *о пивной кружке*, и самый *пуншевой кубок* каждому из них показался бы прозаическим: в стихах тогда говорилось не о *кружках*, а о *фиалах*, не о *пиве*, а об *амброзии* и других благородных, но не существующих на белом свете напитках. Затеяв писать какую-то новгородскую повесть «Вадим», Пушкин в отрывке из нее употребил стих: «Но *тын* оброс крапивою дикой».^[24] Слово *тын*, взятое прямо из мира славянской и новгородской жизни, поражает сколько своею смелостью, столько и поэтическим инстинктом поэта. Из прежних поэтов едва ли бы кто не испугался пошлости и прозаичности этого слова. Мы нарочно приводим эти, повидимому, мелкие черты из «лицейских» стихотворений Пушкина, чтоб ими указать на будущего преобразователя русской поэзии и будущего национального поэта. Теперь странно видеть какую-то смелость в употреблении слова *тын*; но мы говорим не о теперешнем, а о прошлом времени: что легко теперь, то было трудно прежде. Теперь всякий рифмач смело употребляет в стихах всякое русское слово, но тогда слова, как и слог, разделялись на высокие и низкие, и фальшивый

вкус строго запрещал употребление последних. Нужен был талант могучий и смелый, чтоб уничтожить эти австралийские *табу* в русской литературе. Теперь смешно читать нападки тогдашних аристархов на Пушкина – так они мелки, ничтожны и жалки; но аристархи упрямо считали себя хранителями чистоты русского языка и здравого вкуса, а Пушкина – искажителем русского языка и вводителем всяческого литературного и поэтического безвкусыя...

Из тех «лицейских» стихотворений Пушкина, которые мы называли лучшими и наиболее самостоятельными его произведениями, некоторые впоследствии он изменил и переделал и внес в собрание своих сочинений. Такова, например, пьеса «Друзьям»:

К чему, веселые друзья,
Мое тревожит вас молчанье?
Запев последнее прощанье.
Уж муза смолкнула моя.
Напрасно лиру взял я в руки
Бряцать веселья на пирах,^[25]
И на ослабленных струнах
Искал потерянные звуки.
Богами вам еще даны
Златые дни, златые ночи,
*И на любовь устремлены
Огнем исполненные очи!*
Играйте, пойте, о друзья!
Утрайте вечер скоротечный,

И вашей радости беспечной
Сквозь слезы улыбнуся я.

Впоследствии Пушкин так переделал эту пьесу:

Богами вам еще даны
Златые дни, златые ночи,
И томных дев устремлены
На вас внимательные очи.
Играйте, пойте, о друзья!
Утратьте вечер скоротечный,
И вашей радости беспечной
Сквозь слезы улыбнуся я.

Через уничтожение первых восьми стихов и перемену одиннадцатого и двенадцатого, из безобразного куса мрамора вышла прелестная статуэтка... Мы не знаем, были ли переправлены Пушкиным другие из «лицейских» его стихотворений или они с первого раза удачно написались, – только значительное число их вошло в собрание его сочинений, изданных в 1826 и 1829 году. Так как собрание 1826 года, вышедшее маленькою книжкою, потом все вошло в следующее четырехтомное издание (1829–1835), составив первую его часть, то мы и будем ссылаться в нашем разборе только на это последнее издание, тем более, что оно выходило в свет под редакциею самого Пушкина.

Итак, в первый том и отчасти во второй «Сочинений

Александра Пушкина» (1829) много вошло его «лицейских» стихотворений 1815–1817 годов, и потом таких его стихотворений, которые писаны им вскоре по выходе из Лицея и которые, вместе с «лицейскими», вошедшими в первый том издания, можно охарактеризовать именем переходных. В них виден уже Пушкин, но еще более или менее верный литературным преданиям, еще ученик предшествовавших ему мастеров, хотя часто и побеждающий своих учителей; поэт даровитый, но еще не самостоятельный и – если можно так выразиться – обещающий Пушкина, но еще не Пушкин. В этих *переходных* стихотворениях видна живая историческая связь Пушкина с предшествовавшей ему литературой, и они перемешаны с пьесами, в которых виден уже зрелый талант и в которых Пушкин является истинным художником, творцом новой поэзии на Руси.

Таковыми *переходными* пьесами считаем мы следующие: *К Лицинию, Гроб Анакреона, Пробуждение, Дружьям, Певец, Амур и Гименей, Ш***ву, Торжество Вакха, Разлука, П***ну, Дельвигу, Выздоровление, Прелестнице, Жуковскому, Увы, зачем она блистает, Русалка, Стансы, Т-му, В-му, Кривцову, Черная шаль, Дочери Карагеоргия, Война, Я пережил мои мечтанья,*^[26] *Гроб юноши, К Овидию, Песнь о вещем Олеге, Дружьям, Гречанке, Свод неба мраком обложился, Телега жизни, Прозерпина, Вакхическая песня, Козлову, Ты и Вы* и несколько эпиграмм, которыми оканчивается вторая часть и которыми Пушкин заплатил невольную дань тому

времени, когда он вышел на поэтическое поприще. Эпиграммы, мадригалы, надписи к портретам были тогда в большом ходу и составляли особенный род поэзии, которому в пиитиках посвящалась особая глава. Только Державин и Жуковский не писали эпиграмм; но Батюшков был до них большой охотник, и, вероятно, его-то пример особенно увлек Пушкина.

Замечательно, что во второй части собрания стихотворений Пушкина уже меньше *переходных* пьес, а в третьей их совсем нет: в ней содержатся только пьесы, проникнутые насквозь самобытным духом Пушкина и отличающиеся всем совершенством художественной формы его созревшего и возмужавшего гения. В первой части всего больше *переходных* пьес, но в ней же, между *переходными* пьесами, есть довольно и таких, которые по содержанию и по форме обличают уже оригинальность и самостоятельность, составляющие характер пушкинской поэзии. Чтоб яснее было нашим читателям, что мы разумеем под «переходными» стихотворениями Пушкина, мы поименуем и противоположные им чисто пушкинские пьесы, находящиеся в первой части; они начинаются не прежде, как с 1819 года, в таком порядке: *Мечтателю*, *Уединение* (которое, впрочем, только по содержанию, а не по форме, можно отнести к числу чисто пушкинских пьес), *Домовому*, *NN*, *Недоконченная картина*, *Возрождение*, *Погасло дневное светило* и в особенности начинающиеся в 1820: *Виноград*, *О дева-роза*, *я в оковах*, *Дори-*

*де, Редает облаков летучая гряда, Нереида, Дорида, Ч***ву, Мой друг, забыты мной следы минувших лет, Умолкну скоро я, Муза, Дионея, Дева, Приметы, Земля и море, Красавица перед зеркалом, Алексеву, Ч***ву, Люблю ваш сумрак неизвестный, Простишь ли мне ревнивые мечты, Ненастный день потух, Ты вянешь и молчишь, К морю, Коварность, Ночной зефир и Подражания корану.* Обо всех этих пьесах наша речь впереди; скажем сперва несколько слов только о «переходных».

В переходных пьесах Пушкин больше всего является счастливым учеником прежних мастеров, особенно Батюшкова, учеником, победившим своих учителей. Стих его уже лучше, чем у них, и пьесы в целом отличаются большею выдержанностью. Собственно пушкинский элемент в них составляет элегическая грусть, преобладающая в них. С первого раза заметно, что грусть более к лицу музе Пушкина, более родственна ей, чем веселая и шаловливая шутовость. Часто иная пьеса начинается у него игриво и весело, а заключается унылым чувством, которое, как финальный аккорд в музыкальном сочинении, один остается на душе, изглаживая в ней все предшествовавшие впечатления. Маленькое стихотворение «Друзьям» может служить образцом таких пьес и доказательством справедливости нашей мысли. Поэт говорит о шумном дне разлуки, о буйном пире Вакха, о кликах безумной юности, при громе чаш и звуке лир, и о той широкой чаше, которая, удовлетворяя скифскую жажду, вмещала

в свои широкие края целую бутылку, – и вдруг эта веселая, шаловливая картина неожиданно заключается такою элегическою чертою:

Я пил и думою сердечной
Во дни минувшие летал,
И горе жизни скоротечной
И сны любви воспоминал.

Но грусть Пушкина не есть сладенькое чувствованье нежной, но слабой души; нет, это всегда грусть души мощной и крепкой, и тем обаятельнее действует она на читателя, тем глубже и сильнее отзывается в самых сокровенных тайниках его сердца и тем гармоничнее потрясает его струны. Пушкин никогда не расплывается в грустном чувстве»; оно всегда звенит у него, но не заглушая гармонии других звуков души и не допуская его до монотонности. Иногда, задумавшись, он как будто вдруг встряхивает головою, как лев гривую, чтоб отогнать от себя облако уныния, и мощное чувство бодрости, не изглаживая совершенно грусти, дает ей какой-то особенный освежительный и укрепляющий душу характер. Так и в приведенной нами сейчас пьесе внезапное чувство мгновенной грусти тотчас же сменилось у него бодрым и широким размахом проясневшей души:

Меня смешила их измена:
И скорбь исчезла предо мной,

Как исчезает в чашах пена
Перед запевшею струей.^[27]

Из *переходных* пьес Пушкина лучшие те, в которых более или менее проглядывает чувство грусти, так что пьесы, вовсе лишенные его, отзываются какой-то прозаичностью, а при нем и незначительные пьесы получают значение. Так, например, песенка «Я пережил мои желанья»,^[28] как ни слаба она, невольно останавливает на себе внимание читателя своим последним куплетом:

Так поздним хладом пораженный.
Как бури слышен зимний свист,
Один на ветке обнаженной
Трепещет запоздалый лист.

Сколько этой поэтической грусти, этого поэтического раздумья в прелестном стихотворении «Гроб юноши»!

А он увял во цвете лет.
И без него друзья пируют,
Других уж полюбить успев;
Уж редко, редко именуют
Его в беседе юных дев.
Из милых жен, его любивших.
Одна, быть может, слезы льет
И память радостей почивших
Привычной думою зовет...

К чему?..

Все окончание этой прекрасной пьесы, заключающее в себе картину гроба юноши, дышит такой светлой, ясной и отраднoю грустью, какую знала и дала знать миру только поэтическая душа Пушкина... Пьеса «К Овидию» в целом сбивается несколько на старинный дидактический тон посланий, но в нем много прекрасного, и особенно, начиная с стиха: «Суровый Славянин, я слез не проливал» до стиха: «Несли издали, как томный стон разлуки»; и лучшую сторону этого стихотворения составляет его элегический тон.

Из «переходных» стихотворений Пушкина слабейшими можно считать: *Русалку*, *Черную шаль*, *Свод неба мраком обложился*. «Русалка» прекрасна по идее, но поэт не совладал с этою идеею, – и кто хочет понять, до какой степени прекрасна и исполнена поэзии эта идея, тот должен видеть превосходное произведение нашего даровитого живописца Моллера. В этой картине художник воспользовался заимствованною им у поэта идеею несравненно лучше, чем сам поэт. «Русалка» Пушкина отзывается юношескою незрелостью; «Русалка» Моллера есть богатое и роскошное создание зрелого таланта. «Черная шаль» при своем появлении возбудила фурор в русской читающей публике, но, подобно «Гусару» Батюшкова, теперь как-то опошлилась и чрезвычайно нравится любителям «песенников». Теперь очень нередкость услышать, как поет эту пьесу какой-нибудь раз-

гульный простолоудин вместе с песнию г. Ф. Глинки: «Вот мчится тройка удалая», или: «Ты не поверишь, как ты мила»... «Свод неба мраком обложился» есть не что иное, как отрывок из новгородской поэмы «Вадим», которую затеял было Пушкин в своей юности и которой суждено было остаться неоконченной. Один отрывок помещен между «лицейскими» стихотворениями, в IX томе, под названием «Сон», и Пушкин не хотел его печатать. Стих отрывка «Свод неба мраком обложился» хорош, но прозаичен.^[29] Герои, выставленные Пушкиным в этом отрывке, – *славяне*; один старик, другой прекрасный юноша с кручиною в глазах —

На нем одежда славянина
И на бедре славянский меч,
Славян вот очи голубые,
Вот их и волосы златые.
Волнами падшие до плеч.

Старик – человек бывалый:

Видал он дальние страны,
По суше, по морю носился^[30]
Во дни былые, дни войны
На западе, на юге бился,
Деля добычу и труды
С суровым племенем Одена,
И перед ним врагов ряды
Бежали, как морская пена

В час бури к черным берегам.
Внимал он радостным хвалам
И арфам скальдов исступленных,^[31]
И очи дев иноплеменных
Красою чуждой привлекал.

Очевидно, что это не те славяне, которые, втихомолку от истории и украдкой от человечества, жили да поживали себе в степях, болотах и дебрях нынешней России; но славяне карамзинские, которых существование и образ жизни не подвержены ни малейшему сомнению только в «Истории государства российского». Из таких славян нельзя было сделать поэмы, потому что для поэмы нужно действительное содержание, и ее героями могут быть только действительные люди, а не ученые фантазии и не исторические гипотезы... Кто видал славянские мечи? Дреколья и теперь можно видеть... Кто видал славянскую боевую одежду времен баснословного Вадима или баснословного Гостомысла?.. Лапти и сермяги можно и теперь видеть...

«Песнь о вещем Олеге» – совсем другое дело: поэт умел набросить какую-то поэтическую туманность на эту более лирическую, чем эпическую пьесу – туманность, которая очень гармонирует с исторической отдаленностью представленного в ней героя и события и с неопределенностью глухого предания о них. Оттого пьеса эта исполнена поэтической прелести, которую особенно возвышает разлитый в ней элегический тон и какой-то чисто русский склад изложения.

Пушкин умел сделать интересным даже коня олегова, – и читатель разделяет с Олегом желание взглянуть на кости его боевого товарища:

Вот едет могучий Олег со двора,
С ним Игорь и старые гости,
И видят: на холме, у берега Днепра,
Лежат благородные кости;
*Их мочут дожди, засыпает их пыль,
И ветер волнует над ними ковыль...*

Вся пьеса эта удивительно выдержана в тоне и в содержании; последний куплет удачно замыкает собою поэтический смысл целого и оставляет на душе читателя полное впечатление:

Ковши круговые запенясь шипят
На тризне плачевной Олега:
Князь Игорь и Ольга на холме сидят;
Дружина пирует у берега;
Бойцы поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.

Нельзя того же сказать о всех «переходных» пьесах Пушкина в отношении к выдержанности и целостности: во многих из них не чувствуешь, чтоб они были кончены на месте, или чтоб в них не было сказано лишнего, или чтоб в них было сказано, что бы можно и должно было сказать. Этого

недостатка совершенно чужды пьесы чисто пушкинские, и совершенным отсутствием в них этого недостатка Пушкин резко отделяется от всех предшествовавших ему поэтов.

Исчисляя пьесы Пушкина в первой части, мы не упомянули об одной из замечательнейших – «Наполеон». Это стихотворение двойственно: в некоторых куплетах его видишь Пушкина самобытного, а в некоторых чувствуешь что-то переходное. Такие мысли, высказанные такими стихами, как эти, могли принадлежать только великому поэту:

Над урной, где твой прах лежит,
Народов ненависть почила,
И луч бессмертия горит.

. . .

Искуплены его стяжанья
И зло воинственных чудес
Тоскою душного изгнанья
Под сенью чуждою небес.
И знойный остров заточенья
Полночный парус посетит,
И путник слово примиренья
На оном камне начертит,

Где, устремив на волны очи,
Изгнанник помнил звук мечей
И льдистый ужас полуночи,
И небо Франции своей;
Где иногда, в своей пустыне,

Забыв войну, потомство, трон,
Один, один о милом сыне
В изгнанья горьком думал он.

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!
Хвала!.. Он русскому народу
Высокий жребий указал,
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

Но все остальное в этой пьесе как-то резко отзывается тоном декламации и несколько напряженною восторженностью, под которой скрывается более раздражения, чем вдохновения. Впрочем, и тут много оригинального, что было до Пушкина неслыхано и невидано в русской поэзии, как, например, выражения: *осужденный властитель, могучий ба- ловень побед, изгнанник вселенной, для которого настает потомство, обесславленная земля, своеправная воля, бли- стательный позор* и тому подобные.

Отчасти то же можно сказать и о другом превосходном произведении Пушкина – «Андрей Шень», которое помещено во второй части и было написано уже в 1825 году.^[32] Пять куплетов, которыми начинается эта элегия, сильно от- зываются декламациею, которая совсем не в натуре пушкин-

ского духа и которая показывает, как долго удерживалось на нем влияние воспитавшей его старой школы русской поэзии. Конец этой пьесы тоже несколько натянут: но середина, от стиха: «Не узрю вас, дни славы, дни блаженства» до стиха: «Ты, слово, звук пустой» – исполнены всей очаровательности пушкинской поэзии.

Есть еще стихотворение, которого мы с умыслом не поименовали, чтобы поговорить о нем особенно: это – «Демон», пьеса, которая, при своем появлении, поразила всех изумлением по глубокости высказанной в ней мысли и по совершенству художественной формы... Сказать ли?... Эта пьеса теперь пережила свою славу, и время изрекло над ней свой суд. Есть что-то простодушно-юношеское в ее выражении, и теперь нельзя без улыбки читать этих, некогда столь дивных стихов:

В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия —
И взоры дев, и шум дубровы,
И ночью пенье соловья —
Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь.

и проч. Сам этот демон, который прекрасное звал мечтою, презирал вдохновение, не верил любви и свободе, на-

смешливо смотрел на жизнь, – сам он теперь давно уже поступил в разряд демонов средней руки, – и теперь совсем не нужно быть демоном, чтоб от души смеяться над *тою* любовью, *тою* свободой, над которыми он смеялся. Словом, этот страшный тогда демон теперь страшен разве только для слишком юного чувства и неопытного ума: сердца возмужалые и умы опытные теперь уже не страшатся и другого демона, пострашнее пушкинского.^[33] Но о «демоне» мы еще будем говорить.

* * *

Предлагаемая статья есть не что иное, как только введение в статью собственно о Пушкине. Мы имели в виду показать историческую связь пушкинской поэзии с поэзией предшествовавших ему мастеров; старались охарактеризовать Пушкина, как только еще ученика в поэзии. Предоставляем судить нашим читателям, до какой степени успели мы в этом. Главный труд наш еще впереди, и статьи о Пушкине будут продолжаться в «Отечественных записках» будущего года; за ними последуют, как было обещано, статьи о Гоголе и Лермонтове. Многие, может быть, недовольны, что эти статьи долго тянутся и беспрестанно прерываются статьями посторонними. Такой упрек был бы не совсем основателен. Задуманный и начатый нами ряд статей несколько не принадлежит к разряду обыкновенных и случайных журнальных кри-

тик: это скорее обширная критическая история русской поэзии; а такой труд не может быть совершен наскоро и как-нибудь, но требует изучения, обдуманности, труда и времени. В лучших иностранных журналах иногда ряд статей об одном предмете тянется не один год, и публика нисколько не в претензии за эту медленность. Оценить критически такого поэта, как Пушкин, – труд немаловажный, тем более, что о нем мало сказано, хотя и много писано. Обыкновенно восхищались отдельными местами и частностями или нападали на частные недостатки, – и потому охарактеризовать особенность поэзии Пушкина, определить его значение, как поэта русского, показать его влияние на современников и потомство, его историческую связь с предшествовавшими и следовавшими ему поэтами, – значит предпринять труд совершенно новый. Как мы выполним его – не наше дело судить о том; по крайней мере, мы хотим делать, что можем и что обязаны, взявшись за издание журнала. Несовершенство труда извинительно; но нет оправданий для лености и равнодушия к благородным, важным интересам и вопросам, – равнодушия, происходящего или от невежества, или от корыстного расчета, или от того и другого вместе..!

Комментарии

1.

См. примеч. 285. (текст примечания: «Стихотворение «На смерть Кутузова» (1813) было написано не А. С. Пушкиным, а его дальним родственником Алексеем Михайловичем Пушкиным (1771–1825). Впервые в печати А. С. Пушкин выступил с стих. «К другу стихотворцу» в «Вестнике Европы» за 1814 год (ч. LXXVI, кн. 13, стр. 9–12).»

2.

Это вступление к «Бове» (1814) действительно напоминает начало «Ильи Муромца» Карамзина. Однако оно было напечатано в издании 1841 года с большими цензурными купюрами. Так, например, после стиха:

3.

В издании 1841 года опущены следовавшие за этим местом стихи:

4.

Стих. «Безверие» (1817) было написано в лицее по заказу директора Энгельгардта и читалось Пушкиным на выпускном экзамене.

5.

В тексте «Отечественных записок» вслед за изданием 1841

года явная ошибка: «Страшусь неопытный бесславного паренья».

6.

В тексте «Отечественных записок» вслед за изданием 1841 года ошибка: «Страж верный прошлых лет, наперсник, муж любимый»...

7.

В тексте «Отечественных записок» – явная опечатка: «Могу ль забыть я вас, когда перед тобой».

8.

«Евгений Онегин», гл. VIII, строфа II.

9.

Так названо в издании 1841 года стих. Пушкина «Пирующие студенты» (1814). Оно является пародией на «Певца во стане русских воинов» Жуковского и поэтому никак не могло быть подражанием ему, как об этом говорит ниже Белинский. Впрочем, острота этого стихотворения в значительной степени пропадала вследствие цензурных купюр и переделок, с которыми оно было напечатано в издании 1841 года.

10.

В «Отечественных записках» ошибочно напечатано: «Другие в бешеных трагедиях храпят».

11.

У Пушкина: «Ему ль оспаривать тот лавровый венец» (т. IX, стр. 331).

12.

Белинский сравнивает два стихотворения Пушкина, посвященные Наполеону: «Наполеон на Эльбе» (1815) и «Наполеон» (1821).

13.

У Пушкина: «Белой груди колебанье» (т. IX, стр. 262).

14.

У Пушкина: «Не владетель я сераля» (т. IX, стр. 263).

15.

«Осгар» (1814) и «Эвлега» (1814) по мотивам сходны с элегией Батюшкова «На развалинах замка в Швеции» (1814).

16.

У Пушкина: «Сплелся с фиалкой нежной» (т. IX, стр. 411).

17.

У Пушкина: «Глугона псалмопенье» (т. IX, стр. 416).

18.

У Пушкина: «Так это сочиненьи» (т. IX, стр. 416).

19.

На самом деле стихотворение «Воспоминания в Царском селе» (1815) позднее перерабатывалось Пушкиным (он исключил похвалы Александру I) и готовилось им к переизданию в собрании стихотворений в 1826 году. Издание это, однако, не состоялось.

20.

Стихотворение это – перевод VII оды из 2-й книги Горация. Белинского ввело в заблуждение издание 1841 года, в котором оно произвольно названо «Гораций» и включено в IX том вместе с лицейскими стихотворениями.

21.

Стих. «В альбом Илличевскому» (1811).

22.

«К моей чернильнице» написано в 1821 году. Белинский снова введен в заблуждение изданием 1841 года, где это стихотворение помещено в разделе «Лицейские

стихотворения» (т. IX, стр. 245–248).

23.

Из послания «К Пущину. 4 мая» (1815).

24.

«Вадим» начат Пушкиным в 1822 году во время южной ссылки. Незаконченный отрывок напечатан в 1827 году. В издании 1841 года он произвольно назвал «Сон (отрывок из новгородской повести «Вадим», т. IX, стр. 386–388). См. примеч. 315.

25.

У Пушкина: «Бряцать веселье на пирах» (т. IX, стр. 327).

26.

Правильное название стихотворения по первому стиху: «Я пережил свои желанья» (т. III, стр. 43).

27.

У Пушкина: «Под зашипевшую струей» (т. III, стр. 45).

28.

См. примеч. 312. (здесь: № 26)

29.

«Свод неба мраком обложился» – начало «Вадима» (т. IV, стр. 274, под произвольным назв. «Два путника»).

30.

У Пушкина см. вариант: «По суше, по морям носился» (т. IX, стр. 386) и дальше: «В час бури к горным берегам» (там же).

31.

У Пушкина см. вариант: «И арфам скальдов вдохновенных» (т. IX, стр. 386).

32.

Элегия «Андрей Шень» (1825) в посмертном издании была сильно изуродована цензурой (выброшено целых сорок четыре стиха) (т. III, стр. 190–196). Тем значительнее высокая оценка этого произведения Белинским.

33.

То есть «Демона» М. Ю. Лермонтова.

34.

Стих. Лермонтова «Родина» (1841). Нужно: «И полный гордого доверия покой».